**Недотрога**

Дмитрий Биленкин

Ошеломляющее, прекрасное, почти забытое небо! Оно распахнулось и приняло; после однообразия космоса, где только звезды и мрак, после долгого заточения — вихрь, блеск облаков, отсветы морей, зов тверди. От бьющих в иллюминаторы лучей потускнели лампы. Выключить, скорее выключить эти жалкие заменители солнца! Пусть настоящий, промытый воздухом свет продезинфицирует каждый уголок, сотрет последнюю тень!

Щурясь, с улыбкой недоверчивой радости люди смотрели друг на друга. Так выбираются из катакомб. Так выходят из космоса.

Словно подстегнутые нетерпением, стрекотали экспресс-анализаторы. Есть кислород, можно дышать, есть ветер, который коснется лица, вода есть и зелень, совсем как на родине.

Свердлин мельком взглянул вверх, туда, где стыла фиолетовая даль покинутого космоса. И поспешно отвел глаза. Не надо вспоминать, не надо...

Вот награда за все. Вниз один за другим падали автоматы-разведчики. Заняв экран, открывались переданные ими голограммы чужого мира. Белый песок у моря; отягченные плодами ветви; степь, над которой реют птицы; выбитая зверями тропа... Все как на Земле. Почти как на Земле. Ярче, чем на Земле.

Лавина цифр в окошечках анализаторов. Температура, давление, влажность, радиация... Аппарат захлебнулся и смолк: теперь он перемалывал органику. Бактерии, травы, вирусы, насекомые, споры, фитонциды, пыльца, опавшие листья...

Люди ждали. Волнуясь, с нетерпением и надеждой. Забыт — так быстро! — прежний восторг. Кругом нахмуренные лица.

И точно ответ на невысказанную тревогу все услышали сухой и жесткий голос:

— От планеты нечего ждать добра.

Все обернулись. Конечно, это был Фекин, единственный, кто и прежде не выражал радости.

— Ты, пессимист! — набросились на него. — Не каркал бы раньше времени!

— Цо? — Фекин прищелкнул, губы его искривились. — Погулять без скафандра захотелось? Ветерком подышать? Ах, мальчики, мальчики... Нельзя надеяться на лучшее.

— Почему? — спросил Свердлин.

— Потому, — уже серьезно ответил Фекин. — Предполагать надо худшее. Тогда не будет разочарований, если плохое осуществится. А не осуществится... Самая приятная радость — нечаянная. Как видите, мой пессимизм сулит больше счастья.

— Нет, — покачал головой Свердлин. — Нет. Я жду от этой планеты всего, и ожидание дает мне радость. Стыдно признаться, но я жду даже осуществления своей маленькой заветной мечты. Здесь найдется тот уголок природы, которого нет на Земле, но который мне снится. Я вижу его. Укромное озеро в полосах света и тени, нежный песок под босыми ногами, стройные, до неба деревья, теплынь, тишина...

— Ностальгия, — строго заметил врач. — Ты видишь наше озеро среди наших сосен. На Земле, кстати, таких мест сколько угодно.

— И комаров, — добавил Фекин.

Звякнул сигнал, и спор был забыт, так как пошла информация. О вирусах и зверях, деревьях и птицах, цветах и микробах. Обо всем, что есть жизнь, которая во вселенной куда большая редкость, чем гений среди людей.

— Маски, — прошел облегченный шепот. — Только маски!

Автоматы перестраховались. Немного другие тут были цепочки белков, и, хотя разница оказалась незначительной, она решала все: чужая жизнь не могла повредить людям. Даже маска была лишь предосторожностью, от которой поздней можно будет отказаться.

— Ну, Фекин, что же ты теперь не радуешься?

Тот ничего не ответил. Даже яркое солнце, не желтое здесь, а белое, не могло истребить залегших на его лице теней.

Начался спуск. В реве и грохоте атмосферу пронзило космическое сверло. Трещинами разбежались электрические молнии. Лопался нагретый воздух. И долго еще после посадки не стихал гром.

«Силой, — подумал Свердлин. — Мы берем планету силой, мощью наших гигаватт. Как вражескую крепость. Ничего, все успокоится...»

Все успокоилось. Улеглась волна на озерах, улетели сорванные ураганом листья, снова раскрылись цветы. Корабль стоял посреди выжженной плеши, опираясь на могучие титановые опоры. Черта гари отделяла его от мира чужих деревьев и трав.

Избежать этого было нельзя. Так полагалось даже по инструкции — стерилизовать почву в зоне высадки. Превратить ее в пепел. Не допустить, чтобы какой-нибудь вьюнок оплел опору. Лишняя на этой планете предосторожность, но иначе корабль просто не мог сесть, и в девяносто девяти случаях этот недостаток был достоинством, что и подтверждала инструкция.

День сменился вечером, прошла ночь, — локаторы неутомимо прощупывали окрестности. Ничего. Все, что могло бежать, бежало, а что не могло, то погибло. Ничто не возмущало покой искусственной пустыни. В десятках, сотнях, тысячах километрах от корабля, все проверяя и перепроверяя, несли свою вахту автоматы. Там кипела жизнь, и на усиках-антеннах одного из них какой-то паучок уже плел паутину, словно автомат был обычной корягой. Только разум способен реагировать на вторжение чужаков, но разума тут не было, а природа одинаково безразлично принимает и метеорит и звездолет.

Иногда дул ветер, и до корабля доносился, кроме гари, запах диковинных цветов и трав, но его пока чувствовали только приборы, которые бесстрастно раскладывали запах на компоненты: безвреден, безвреден...

Миллиарды бит новой информации наконец сняли последний запрет. Утренняя роса выпала даже на гари, и восход солнца застал людей в пути.

В лесу пели птицы. Руки сами собой выключили двигатель вездехода, притихшие люди сидели и слушали.

Над деревьями вставало белое солнце. Оно посылало в зенит луч, который дрожал, как впившаяся в небо хрустальная стрела.

— Двинулись, — сказал капитан.

Никто не шевельнулся, и капитан не настаивал. Начинался долгий экспедиционный день.

Вездеход полз по голубым корневищам, раздвигал шуршащую траву, объезжал топкую чернь болот, вспугивал шестиногих зверьков с кофейными задумчивыми глазами, взрыхляя почву, брал откосы, и одна непотревоженная даль сменяла другую.

Потом люди вышли, неуверенно ступая по пружинящей подстилке красноватого мха. На них были легкие костюмы, и только маски отделяли их от всего, что было вокруг. Можно было нагнуться и голой ладонью погладить никем не виданные соцветия; можно было запрокинуть голову и дать процеженному листвой лучу пощекотать кожу лба; можно было лечь навзничь; можно было идти не по прямой... Такая малость, но как много она значила после миллиарда шагов по прямым, разлинованным коридорам! Непривычным казалось даже то, что каблуки неравномерно вдавливались в почву. Какое поразительное ощущение после одинаковой упругости корабельного пола! Забылось самое простое: что воздух может омывать тело ласковой волной; что холодок тени граничит с угольным жаром солнца; что существуют рытвины... Кто-то упал, потому что ноги отвыкли учитывать неровность земли. Упавший рассмеялся первым, за ним рассмеялись другие. Это надо же — утерять такие навыки, наслаждаться тем, что прежде не замечал и не ценил!

Они слегка ошалели, ведь ощущения тоже способны пьянить. Хмельная информация, алкоголь разнообразия, настойка из разноцветья! Формулы предупреждали, что так будет. К черту формулы! Планета гостеприимна, доступна от полюса и до полюса; они молоды, и жизнь прекрасна.

Успеется, все успеется. Исследования подождут, гипотезы подождут. Это их планета! Как мягко стелется она под ногами; как изумительно колышутся ветви; как волшебны ее звуки и шорохи; как заманчивы дали! На ее достижение ушли годы — пустяк. Зато она станет новой Землей человека. Со всеми нетронутыми океанами, равнинами, ледниками. Прогресс не остановить; годы пути сожмутся в месяцы, недели, дни... Так было на Земле, так будет в космосе. Везде, везде! Смелая ты, человек, козявка. Упорная. Нет тебе преград, а если будут, ты их сметешь. На то тебе и дан разум. Воля. А ты о чем думаешь, Фекин?

...Забавно все это. Ну, достигли. И тут, ей-ей, неплохо. Мы, можно сказать, счастливы. Но ведь на Земле мы добивались не меньшего счастья. Только быстрей. И без особых трудностей. Без многолетнего отказа от простых земных радостей. Без риска, наконец. Иная рыбалка на заре и вот такая прогулка по чужой планете, в сущности, равноценны с точки зрения удовольствия. Так чего же мы добились?

...Победы, унылый ты пессимист, победы. Дело не в количестве, а в качестве. В невозможном, которое мы сделали возможным. Выше мы стали на голову, вот что. Крепче, уверенней. Лучше мы стали понимать самих себя. Больше знаем и больше можем. Пик для альпиниста не самоцель, даже если он так думает. Берутся не физические высоты, а духовные. Без этого нет роста, а где нет роста, там движение поворачивает вспять, назад, и над нами закрывается крышка гроба. Вот птица в небе, и та понимает, что жизнь — это движение. Как она кувыркается, как узит над нами круги... Ее оперение чудо: лазурь и золото. Она боится нас, но мы ее притягиваем. Все неизвестное притягивает, потому что опасность там, где неизвестность, и, чтобы выжить, надо знать. А птица явно хочет жить...

Птица сложила крылья. Лазурь и золото сверкнули на солнце, раздался вскрик, но, прежде чем люди успели опомниться, на груди Свердлина бился трепещущий, еще живой комочек. Он в ужасе стряхнул его с себя, комочек упал к ногам, дернулся и затих.

Люди ошеломленно смотрели друг на друга.

— Она атаковала?

— Такая птаха?

— Самоубийство?

— Нелепо!

— Что же тогда?

— Приготовить оружие!

— Зачем?

— На всякий случай.

— Но наши белки несовместимы!

— Пусть так, предосторожность...

— Внимание! Сзади!

Куст опрокинулся, вылетело смазанное скоростью тело; вспышка дезинтегратора испарила его раньше, чем оно успело обрести форму и вид.

— Назад! — хрипло закричал капитан. — К машине!

Когда страгивается лавина, сознание еще успевает отметить те первые камни, которые, срываясь, зловеще и звонко щелкают по склону. Затем уже нет частностей, есть масса падения, огромная, смутная, бешеная в своей скорости обвала.

Так было и здесь. Потемнело, хлынуло отовсюду, смешалось. Летящими, падающими, бегущими клочьями больших и малых существ, казалось, двинулась сама природа — приступом, потопом. И фиолетовые вспышки дезинтеграторов разили, сминали, рвали то, что было плотью ринувшейся стихии, то, чем люди недавно восхищались и что теперь, обезумев, восстало против них. Они бежали и с содроганием палили во все живое, ужасаясь и не понимая, что произошло, почему место идиллии стало вдруг местом бойни.

— Биосфера сошла с ума! — переводя дыхание, выкрикнул капитан, когда броня вездехода укрыла их от живого потопа. — Быстрей к кораблю!

Послушно включился двигатель, и трава, прилипшая было к металлу, была смята первыми оборотами колес.

— Стойте... — Свердлин едва мог говорить. — Да стойте же! Мне показалось...

— Что?

— Смотрите.

Масса живого, которую не могли остановить ни выстрелы, ни гибель, редела, таяла, разлеталась брызгами существ, которые немедля исчезали, будто не они только что составляли слепое целое. Вскоре лишь груды обугленных трупов напоминали о скоротечном сражении. Будто ничего не произошло, все так же мирно светило солнце, и деревья поодаль, чья листва не пострадала, тихо струились в потоках нагретого воздуха.

Люди не могли опомниться, ибо нигде, ни в одной звездной системе они не сталкивались с такой чудовищной бессмыслицей.

— Тем не менее мне это кое-что напоминает, — расширенными глазами биолог смотрел на груды мертвых тел, рану, выжженную в светлой зелени чужого мира. — Аналогия, конечно, чисто внешняя...

— Ну?

— Атака фагоцитов. Нападение на все чужеродное...

— Нелепо, — сказал капитан.

— Нелепо, — согласился биолог. — Если вдуматься, тут даже и сходства нет. Никто не нападал на наши механизмы. Никто не обрушивался на наш корабль...

— Никто не нападает на вездеход, — добавил Свердлин, берясь за ручку дверцы. — Поэтому, возможно, все решит простой опыт.

— Куда?! Не сметь!

— Позвольте! Раз никто не нападал и не нападет на нас, пока мы в этой коробке, значит, всему виной мы.

— Мы?

— Наше белковое родство и одновременно несходство со всем, что нас здесь окружает. Это не атака фагоцитов. Организм принимает металл и пластмассу, все заведомо чуждое жизни, но схожие белки он отторгает.

— Реакция несовместимости? — вытаращил глаза капитан. — Биосфера не организм!

— Очень странная, а потому, может быть, верная мысль, — подумав, сказал биолог. — Биосфера, конечно, не организм, но система, способная реагировать как единое целое. Хотя... Нет, не получается! Где и когда биосфера вела себя подобным образом?

— Где и когда она прикидывалась доступной и позволяла нам обойтись без скафандра?

— Прикидывалась смирной, чтобы больней ударить? — Фекин издал смешок. — Кто-то мечтал о новой Земле... Кто-то спешил быть оптимистом...

Свердлин ничего ему не ответил.

— Опыт разрешается? — спросил он.

— Да.

Он вышел из вездехода, из герметичной коробки, из походной тюрьмы и встал среди цветущих трав, голубого воздуха, тишины лесного мира. Один на один с кроткой, такой земной, такой близкой человеку природой, в глубине которой таился отпор, слепой и бешеный, призванный стереть человека, как злокозненного микроба. И натиск не заставил себя ждать.

— Вот и все, — подавленно сказал Свердлин, захлопнув дверь, за которой кишели тысячи существ. — И тут нужны скафандры. Нужна изоляция, чтобы нас не чуяли... Что же, двинулись.

Вездеход заскользил обратно, по прежним своим следам, все быстрей и быстрей, словно убегал от разочарования.

Шипел кондиционер, нагнетая осточертевший, рожденный химией воздух. За стеклом проносилось великолепие чужого дня.

Опять заточение, думал каждый. Тело в оболочке скафандра, точно вокруг ледяной космос. Всюду жизнь отторгает нас. Беззащитны одни только мертвые миры... А у входа в любой космический сад по разным причинам незримо горит одна и та же надпись: «Посторонним вход воспрещен».

— Между прочим, человеку свойственно приручать, — внезапно сказал Свердлин, когда впереди обозначилась громада звездолета. — Не так уж существенно, конь это, атом или биосфера. Прогресс — это обуздание! Что там говорилось об оптимизме и пессимизме? Лучшим другом в конце концов становится не та собака, которая ластится перед любым прохожим... И это прекрасно.